

# КУЛЬТУРОЛОГИЯ

А. П. Люсый

## ЛЕВИАФАН LUDENS. К понятию субъекта пограничной деятельности<sup>1</sup>

УДК 008

*Субъект пограничной деятельности, или «символический пограничник», представлен одновременно как хранитель и нарушитель границ. В океаническом пространстве это Левиафан, в континентальном — преимущественно медведь, образ которого во многом замешан на оборотничестве. На таких основаниях ведется анализ онтологических и гносеологических принципов познания и коммуникации. Цель такого анализа — выявление прагматических, синтаксических и семантических правил соответствующего вида символической деятельности индивида, связывающей его с незнакомой реальностью.*

**Ключевые слова:** *символический пограничник, субъект, государство, свобода, воля, семиозис, маркировка, иное.*

*A. P. Lyusy. Symbolical Frontier Guard: However Much You Feed the Leviathan, He Still Looks at the Woods*

*The subject of liminal activity, or “the symbolical frontier guard”, presented at the same time as the keeper and the violator of borders. In*

---

© Люсый А. П., 2015

<sup>1</sup> Статья написана при поддержке грантов РГНФ: № 15-03-00581 «Освоение репрезентаций пространства в культурных практиках: история и современность» и № 15-33-14106 «Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление человеческого ресурса и национальные культуры (проблема Другого)».

*the oceanic space, this subject is presented as Leviathan, in continental one he usually takes the form of a bear, and often werebear. For these reasons, the author considers the ontological principles of cognition and communication. The purpose of such an analysis is detection of pragmatic, syntactic, and semantic rules of the corresponding type of symbolical activity of individual, which connects him or her with non-symbolic reality.*

**Keywords:** *symbolical frontier guard, subject, state, freedom, will, semiotic, marking, other.*

*Работа над языком имеет задачу свою: железную антиномию его закалить в сталь, т.е. сделать двойственность языка ещё бесспорней, еще прочней... И прежде всего, что есть термин этимологически и семасиологически? — Terminus, или termen, inis или termo происходят от корня –ter-, означающего «перешагивать, достигать цели, которая по ту сторону».*

*П. Флоренский. Термин*

*Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница эта — не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую — меньше пьют и говорят на нерусском... А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и говорят не по-русски!*

*В. Ерофеев. Москва – Петушки*

Сотворение мира, согласно Библии, происходило одновременно с созданием границ, равно как и с определением их местоблестителя, субъекта пограничной деятельности. Буквально в первых словах Книги Бытия говорится, что Бог «сотворил небо и землю» (Быт. 1, 1), и это деление всего сотворенного надвое, как отметил П. Флоренский, всегда признавалось основным. «Но эти два мира — мир видимый и мир невидимый — соприкасаются. Однако их взаимное различие так велико, что не может не встать вопрос о гра-

нице их соприкосновения. Она их разделяет, но она же их соединяет» [13, с. 419].

Разделение происходит явно для удобства последующей связи («Прежде чем объединиться и для того, чтобы объединиться...»). «Он связывает воды в плотных облаках, и облако не разрывается под ними» (Иова 26:8). Речь тут идет о «водах» во множественном числе, которые находятся над нашими головами, как Иов говорит в главе 26:5–13. В сущности, стихи 5–13 книги Иова описывают строение всей Вселенной, так что это можно называть библейской космологией, что представляет собой, по мнению Перри Димопулоса, научное (в библейском смысле слова) исследование строения Вселенной; её форму и местоположение всего внутри неё и за её пределами, с её полюсами границ и безграничности. Воды связаны в облака так, чтобы они не хлынули вниз. «Он окружил воды пределами, пока не окончатся день и ночь» (Иова 26:10). Все воды имеют свои «пределы», а одна из границ этих вод простирается к тому месту, где начинается вечность: «пока не окончатся день и ночь». Это то место, с которого начинается ВЕЧНОСТЬ. В нём нет различия между ночью и днём, как в нашей солнечной системе. В последующих стихах возникает и интересующий нас персонаж: «Столпы неба дрожат и поражаются обличению его. Силой своей разделяет море и разумом своим сражает гордых. Духом своим украсил небеса, рука его образовала кривого змея» (Иова 26:11). Змей, Бегемот, Левиафан представляют собой одно и то же сверхъестественное существо на границе стихий и сущностей.

Пс. 104:26 /103 (Син.) «...Там ходят корабли, там этот левиафан, которого ты создал играть в нем». Левиафан — и субъект, и объект этой пограничной игры, а в некоторых случаях и жертва: «Ты разделил силой твоей море, ты сокрушил головы драконов в водах. Ты разбил головы левиафана вдребезги и отдал его в пищу народу, населяющему пустыню» (Пс. 74:13, 14).

Как трактует П. Димопулос бегемотово разнообразие Библии, «есть множество змиев (Чис. 21:6) на этой земле, которых, конечно же, не стоит путать с единственным древним змием Бытия 3-й главы, который обольстил Еву. Есть левиафаны в водах на этой земле, у которых лишь одна голова, но есть и сверхъестественный ЛЕ-

ВИАФАН, у которого семь голов. Он являет собой красного дракона. Это и есть Сатана!» Т.е. есть посясторонний Левиафан-пограничник, данный во устрашение и во искушение (в прямом и переносном смыслах) людей, а есть потусторонний адский Левиафан как воплощение абсолютного зла. Последнее упоминание о Левиафане в Библии: «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым, и большим, и крепким, левиафана, змея пронизающего, именно левиафана, того змея кривого; и убьет дракона, который в море». (Ис. 27:1).

Новое всплытие Левиафана осуществил Т. Гоббс посредством известного одноименного трактата. «Левиафан» Гоббса знаменует, что время разделений, в частности, духовной и светской власти, прошло. «Поскольку, — трактует переосмысление Левиафана Гоббсом А. Тесля, — естественные законы сами по себе бессильны перед действием страстей; так как люди «от природы любят свободу и господство над другими», то для защиты «от вторжения чужеземцев и от несправедливостей, причиняемых друг другу» возможен только один путь, а именно сосредоточение «всей власти и силы в одном человеке или в собрании людей, которое большинством голосов могло бы свести все воли граждан в единую волю». Для установления общей власти необходимо, «чтобы каждый человек считал себя доверителем в отношении всего, что носитель общего лица будет делать сам или заставит делать других в целях сохранения общего мира и безопасности, и признал себя ответственным за это; чтобы каждый подчинил свою волю и суждение воле и суждению носителя общего лица. Это больше, чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения» [11]. Гоббс пишет: «Таково рождение того великого Левиафана, или, вернее (выражаясь более почтительно), того смертного Бога, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей защитой. Ибо благодаря полномочиям, отданным ему каждым отдельным человеком в государстве, указанный человек или собрание лиц пользуется такой огромной сосредоточенной в нем силой и властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого человека или это собрание лиц способными

направлять волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной помощи против внешних врагов» [3, с. 133].

В этом месте меняется самый стиль Гоббса, говорящего о возникновении государства. Вместо обычной логической чеканности опять всплывает библейский стиль шести дней творения — и разграничения. При этом подчеркивается, что именно разграничивающая сила и власть Левиафана, возникающего из состояния естественной вражды (первоначального хаоса), есть единственное, что способно упорядочить человеческий мир — то, что, утвердившись, несет мир и покой — «субботный отдых», даруемый здесь как награда за повиновение, как готовность пожертвовать свободой, в естественном состоянии являющейся единственно свободой страстей. И как война рождается из свободы, так мир порождается пограничным страхом, непременным спутником «силы и власти», страх единственный способен породить сотрудничество, единственный может обеспечить осуществление естественных законов «взаимной уступчивости» и «легкого прощения обид».

Уподобление Левиафана естественному организму имеет свои границы — и границы эти явственнее всего в состоянии кризиса и распада государства. В «естественном теле» все члены находятся «во взаимной зависимости». Так же верно и то, что в государстве все члены «взаимно связаны между собой, но зависят они только от суверена, который является душой государства. И стоит только этой душе исчезнуть, как государство так распадается в огне гражданской войны, что прекращается всякая взаимная связь между людьми в силу отсутствия общей зависимости от известного суверена, точно так же как члены естественного тела распадаются в земле вследствие отсутствия связывающей их души» [3, с. 443].

Обязанности подданных по отношению к суверену предполагаются существующими лишь в течение того времени, пока суверен в состоянии защищать их. Всего таких случаев Гоббс рассматривает четыре. Во-первых, подданный освобождается от обязанности повиновения в случае пленения «или если его личность или средства существования находятся под охраной врага и ему даруется жизнь и физическая свобода при том условии, что он станет подданным победителя». В таком случае «подданный волен принять это усло-

вие, а приняв его, он становится подданным того, кто взял его в плен, ибо у него нет другого средства сохранить свою жизнь». Во-вторых, в том случае, когда «монарх отрекается от верховной власти за себя и за своих наследников», «его подданные возвращаются к состоянию абсолютной естественной свободы». В-третьих, когда монарх подвергает своего подданного изгнанию. Гоббс поясняет: «Хотя тот, кто послан за границу с каким-нибудь поручением или получил разрешение путешествовать, остается подданным, но не в силу своего соглашения о подданстве, а в силу договора между суверенами. Ибо всякий вступающий на территорию другого владения обязан подчиняться всем его законам, за исключением того случая, когда он пользуется особой привилегией благодаря дружбе между его сувереном и сувереном той страны, где он временно пребывает, или когда он имеет специальное разрешение сохранить старое подданство» [3, с. 173]. В приведенном авторском пояснении к третьему случаю выхода подданного из-под власти своего суверена ярко проявляется ключевая доктрина абсолютного и в то же время территориально ограниченного характера государственной власти. Левиафан тотален, но не империалистичен, поскольку любая империя в идеале своем безгранична.

В зависимости от того, как сообщается Слово Божье, различаются и два вида Царства Божьего — естественное и пророческое. При пророческой форме царства Господь, «избрав своими подданными определенный народ (евреев), управляет им, и только им, не только при помощи естественного разума, но также посредством положительных законов, данных этому народу устами его святых пророков» [3, с. 277].

Два обозначенных Гоббсом вида царств на современном языке актуализируют проблему качественных границ или способностей, через которые субъект может осуществить самоописание, в процедурах которого фундаментальной становится проблема онтологических границ семиозиса и их «символического пограничника», учреждающего игровое пограничное пространство. По словам А.Ю. Нестерова, каждый конкретный вариант решения этой проблемы определяет онтологическую модель, задающую соотношение коммуницируемого и познаваемого, то есть соотношение языка, мыш-

ления и действительности. «Плюрализм (например, в виде гипотезы о трёх мирах К. Поппера) подразумевает несводимость реальности каждого из трёх миров к реальности любого другого мира, так что возникает проблема описания взаимодействий между мирами и условий возможности такого описания. Это проблема «единого во многом», или (в холизме) проблема необходимого тождества бытия, мышления и языка как условия возможности описания действительности, или (в редукционистских моделях) проблема общей логической формы или общей формы отражения, обеспечивающей корреспонденцию языка и мира, или (в конструктивистских моделях) проблема всеобщей символической функции. Определение онтологических границ семиозиса — это проблема описания миров и их взаимодействий внутри плюралистической системы, то есть проблема выражения в единой непротиворечивой терминологической системе семиотики функций, задающих действительность языка, действительность сознания и действительность восприятия» [7]. Данное определение есть анализ онтологических и гносеологических оснований познания и коммуникации, направленный на выявление прагматических, синтаксических и семантических правил соответствующего вида символической деятельности индивида, связывающей его с незнакомой реальностью. Оно соотносится с попыткой соединения герменевтики и семиотики у А. Августина, порождающей схоластическую философию. Таковой стала и просвещенческая традиция «общей герменевтики» XVII–XVIII вв., вводящая проблему и познания, и коммуникации через категорию знака; таково стремление современной семиотики к единому языку описания процессов познания и коммуникации, опирающемуся на модель Ч. У. Морриса.

Проблема границ семиозиса в современной коммуникации требует в онтологическом плане выявления оснований коммуникации, проясняемых на уровне семантики через анализ соотношения знакового и незнакового, то есть знака и обозначаемого; на уровне прагматики — через анализ роли процедур выражения и понимания как функций отправителя и получателя сообщения; на уровне синтаксиса — через анализ возможностей системы задавать семантические и прагматические ограничения. В гносеологическом плане оп-

ределение границ семиозиса подразумевает анализ типов семиозиса и выявление специфики собственно коммуникативного семиозиса, обнаруживаемой как через анализ проблемы значения, то есть интерналистских и экстерналистских версий теории значения и соответствующих им семантических и прагматических презумпций, так и через анализ границы выразимого и невыразимого, задаваемой синтаксисом.

Проблема определения границ семиозиса раскрывается в первую очередь на фоне регулярно повторяющейся в истории философии утопии универсального языка или кода, владение которым позволяло бы человеку верно интерпретировать явления физического, психического или сверхчувственного мира. Каким образом возможен субъект пограничной деятельности, способный претерпевать одни события и выступать автором других, делить переживаемое на свое и чужое, быть активным и деятельным в отношении противопоставленного ему мира? Этот вопрос обострился в эпоху Просвещения, когда представления о субъекте и объекте коренным образом изменились: вместо того, чтобы исходить из жесткого противопоставления Я и не-Я для построения учения о мире и человеке, философия обратилась к исследованию того, как само это противопоставление становится возможным. И наконец, XX век ознаменовался «смертью субъекта» в структурализме и постструктурализме, вынесением конститутивов субъективности за ее границы (например, в ситуацию интерсубъективности), «лингвистическим поворотом» и определением субъективности как эпифеномена языка (Р. Барт, Э. Кассирер, К. Леви-Стросс, Ж. Лакан, Э. Бенвенист и др.).

Топологически пограничная субъективность может быть представлена как континуум состояний между двумя принципиально недостижимыми полюсами, один из которых И. В. Журавлев и А. Ш. Тхостов называют полюсом субъекта, а другой — полюсом объекта. «Членение диады субъект–объект проходит по линии напряженного взаимодействия, граница между элементами которого рождает необходимость субъективного образа объективной реальности. Как субъект, так и объект могут появиться лишь в этом разрыве, в точке полупрозрачности, порождающей одновременно и субъекта, и *иное* по отношению к нему. Однако локализация грани-

цы между субъектом и объектом, т.е. самого *места субъективности*, не является однозначной. Во-первых, мое Я, состоящее из души и тела (психофизический субъект), может быть противопоставлено существующему вне моего тела миру; во-вторых, мое сознание со всем его содержанием — миру вне сознания, в том числе и моему телу; в-третьих, мое сознание может быть противопоставлено всему его содержанию: все мои мысли, чувства и желания могут стать для меня объектом» [4, с. 8].

Указывая на неоднозначность местоположения границы между субъектом и объектом, ученые обращаются к классическому психологическому феномену зонда: ощущения испытуемого при использовании для изучения объекта зонда (называемого «посохом Бора»), локализуются не на границе руки и зонда, а на границе зонда и объекта. Эта граница принципиально смещается, а сам субъект, обнаруживающий себя лишь в столкновении с иным, оказывается своеобразной «черной дырой». При последовательном разложении субъекта в процессе пограничной деятельности возникает гносеологический субъект, в котором не заключается более ничего, что может стать объектом, однако его понятие И. В. Журавлев и А. Ш. Тхостов истолковывают как *пограничное понятие*. Продвижение в сторону полюса субъекта не что иное, как бесконечный тупик XXI века: я мыслю себя как субъект, но доступен себе исключительно как объект. Однако и полюс объекта (полюс абсолютной непрозрачности, неподконтрольности) при перемещении границы тоже никогда не может быть достигнут, поскольку у субъекта всегда остается возможность проявления активности по отношению к неизбежно возникающему-для-него *иному* (исчезновение *иного* означало бы исчезновение самого субъекта).

Помимо факта подвижности границ субъекта, феномен зонда позволяет продемонстрировать универсальный принцип объективации: свое феноменологическое существование явление получает постольку, поскольку обнаруживает свою непрозрачность и упругость. Для того чтобы стать для меня реальным, воспринимаемым мною предмет должен обладать характеристиками необходимости и общезначимости: именно тогда отношение представления к предмету становится *объективным*. Реальный предмет должен

быть в буквальном смысле *необходимым* и *непрозрачным*, проявлять качества «исключительности, агрессивности». Очень много примеров, подтверждающих это, содержится в естественном языке: нечто бросается в глаза или режет слух, и именно броское, а не мутное и полупрозрачное в первую очередь привлекает наше внимание как реальное явление; малореальное всегда неотчетливо и может быть развеяно, как сон.

Ирония, этот трансграничный язык порога, не допускает утопических компромиссов, которые во имя терпимости и гуманизма, благоприятной для человека сбалансированной гармонии, целостности «живой жизни» искал реализм XIX в. Именно это благородное, но утопическое сознание привело его к крушению. Дух рефлексии в искусстве XX в., критической или, в конце века, игровой по поводу форм культуры и искусства, форм мышления современного человека, многообразно проявляет себя в литературе XX века и постмодерна. Здесь происходит перевод и переработка культурного опыта порога в плоскость языка порога, что позволяет культуре находить новые формы *внезаходимости* по отношению к себе самой, осознавать себя и таким образом подниматься над своими ограниченностями.

Левиафана можно назвать *символическим пограничником* [16] океанического (атлантического) сознания. Наиболее проявленным символическим пограничником континентального сознания стал медведь, своего рода «русский Левиафан», по сути своей вряд ли менее воображаемая сущность.

Впрочем, первыми носителями воплощенной в образе медведя *антиевропейской* сущности оказались персы. В античной иконографии они зачастую изображаются с уложенными в прическу волосами, что побудило древнееврейских комментаторов искать у них сходство с медведем по части волосяного покрова. Талмуд подтверждает наиболее древнее и распространенное истолкование образа медведя из книги Даниила (7:5) как символа Мидо-Персии, а точнее персов, «которые ели и пили, как медведи, были покрыты мясом (толсты), как медведи, волосы у них были длинные, как у медведей, и они не знают отдыха, как медведи». Данное выражение не только означает поглощение различного рода пищи в огромных

количествах, но и является намеком на алчность персов. Тело, «покрытое мясом», не только означает тучность, но и указывает на прямо-таки экстремальную телесность персов, переходящую в развратность. Кроме того, этот образ может намекать не столько на тучную, сколько на мускулистую, массивную фигуру как зверя, принадлежащего к числу наиболее крупных сухопутных животных, так и персидских воинов.

Древнееврейское слово *dob* — «медведь» — обозначает как самца, так и самку этого животного. Подобным образом дело обстоит с греческим существительным *he arktos*, которое, кроме того, может использоваться для обозначения севера, созвездий (*mikra arktos* — Малая Медведица; *megale arktos* — Большая Медведица), а также — что может показаться неожиданным — и Южного полюса [1, с. 11]. Такое отсутствие четкого разграничения полов при упоминании медведя в оригинальных библейских текстах можно рассматривать как симптоматичное и свидетельствующее об объединении порой диаметрально противоположных черт в одной фигуре. Так образ медведя начал амбивалентно (двуполярно) интерпретироваться как символ двух противоборствующих сил: божественной и демонической.

Книга Осия (13:8), передавая слова разгневанного Бога, который будет нападать на свой неверный народ, «как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их и поедать их там, как львица; полевые звери будут терзать их». Медведица здесь символ самого Яхве, а не только его гнева, истинный земной Левиафан. В книге Даниила (7:3) фраза «И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого» якобы свидетельствует, что в видении пророка они появляются одновременно. Это открыло новые возможности толкования: отпала необходимость отыскивать в истории четыре великих государства, следующие одно за другим, и стало возможным применять актуализацию, основанную на одновременном существовании четырех империй. Все это означает отказ от традиционного исторического толкования (льва как Вавилона, медведя как Персии и барса как Греции, а четвертого зверя как Рима), которое не отвечало новому требованию нелинейной одновременности.

Образ медведя в России, как и во всех мифоритуальных системах жителей лесной и лесостепной природно-географических зон, издавна играл весьма важную роль, так что вполне закономерным стало появление медведей и в земельной геральдике России. В то же время, в отличие от гербов Берлина или Берна, «русские» медведи не объясняли название города, т.е. не выполняли чисто этимологическую функцию «гласных» эмблем. В каждом из этих гербов медведи занимают разное положение, имеют различные атрибуты и, соответственно, отражают разную семантику эмблем, вписывающуюся в более широкий историко-культурный контекст. Двуглавый орел парил в облаках, а медведи (иногда в паре с другими лесными хищниками) держали внизу щит, т.е. им отводилась защитная функция. Охота на медведя (точнее, единоборство с ним) выступало в качестве некоего важного, до некоторой степени даже неперемного атрибута княжеской власти.

В то же время нередко образ медведя приобретали бесы, являвшиеся для искушения святым. Печерского инока Исакия они пугали «то в образе медведя, то лютого зверя, то вола, то ползли к нему змеями, или жабами, или мышами и всякими гадами» [8, с. 222]. Святой побеждает медведя, но не оружием, как князя, убивая его, а добротой — приручая. Эпизод с медведем входит в контекст духовных подвигов Сергия Радонежского, претерпевавшего искусы и боровшегося с бесами. Характерно, что святой не только кормил зверя, но ради него даже отказывал себе в пище (если ее было недостаточно). Схожее «чудо о медведе» связывается и с житием Серафима Саровского. Тем самым чудо борьбы (победа над медведем в княжеской охоте) уступает место чуду добра и духа (умиротворение медведя святым подвижником); при этом и сам медведь выглядит достаточно мирным.

Однако разнообразно увековеченная в геральдике княжья, а позже царская охота на медведя параллельно продолжала иметь инициационный для государственной зрелости правителя характер, после некоторого угасания получив неожиданный импульс в начале царствования Александра II. Как отмечает Р. Уортман, ни Александр I, ни Николай I не любили охоту — она была для них лишь суррогатом боевой славы и плац-парадной дисциплины. Но Алек-

сандр II расширил штат егермейстерского ведомства, основал новое охотничье угодье — Беловежскую пушу в Гродненской губернии, где водились последние на территории Российской империи зубры, и повелел собрать оркестр для исполнения подходящей охотничьей музыки. Были построены или перестроены роскошные охотничьи домики, в которых Александр вместе с великими князьями и своими гостями возвел охоту в ранг церемонии Российской монархии.

Забегая вперед, стоит отметить, что такое возрождение стоит трактовать не как возвращение к истокам, а скорее как прогрессивный знак характерной для эпохи этого царя европеизации. К середине XIX в. британская аристократия, дав всей Европе пример благородных спортивных развлечений, сделала охоту досугом истинных аристократов. Кроме того, охота служила знаком доблести и смелости вождей народа-колонизатора. Охотник проявлял личное мужество и хладнокровие, покоряя другие царства — животное царство так же, как человеческие. Охотник — идеальный и окончательный тип строителя империи. Особые нарративы повествуют о бесстрашных охотниках, выходящих на крупного зверя, и живописуют эпические сцены гибели огромных сильных животных. Иллюстрации изображают охотников, стоящих в гордом одиночестве и палящих в упор в прыгающего на них зверя.

Статья «Выстрел Его Величества в медведя», опубликованная в первом февральском выпуске «Русского художественного листка» за 1857 г., помещает царя в центр такого охотничьего нарратива [12, с. 84–85]. Медведь, как рассказывает автор статьи, был обнаружен внезапно, всего в пяти или шести шагах от охотников, и царь выстрелил. На сопутствующей литографии Тимма медведь изображен в непосредственной близости от императора, который, прицелившись, стреляет. Но это не просто человек, сражающийся со зверем; художник отнюдь не хотел создать впечатление, что жизнь императора подвергается опасности. Рядом с ним урядник с пикой и егерь с ружьем.

Охота также давала Александру возможность появляться в окружении своих приближенных и иностранных принцев, причисленных к его свите. На другой картине император выставляет свою добычу на всеобщее обозрение в виде чучела для демонстрации охот-

ничьей доблести. Поистине, эта поездка Александра II в Беловежскую пушу может рассматриваться как аналог империостроительного путешествия Екатерины II в Крым в 1787 году, с тем отличием, что именно на западной границе был ритуально убит разделяющий Россию и Европу местный «левиафан» — после того, как он был на Западе же изобретен сначала в торгово-экономическом, а затем в сатирическом ключе.

То есть, возвращаясь к прерванной нити нашего исторического повествования, отметим, что разнообразно *геральдизируемый* медведь никогда не был в самой России позитивным или негативным символом всей страны. Первое известное нам изображение медведей в контексте России как таковой содержится на гербе английской «Московской компании» (1596). Сама компания была основана еще в 1555 г., т. е. уже на следующий год после первых англо-русских контактов на государственном уровне и установления дипломатических отношений. Медведи выступают здесь, как и на царской печати, геральдическими щитодержателями. Тут не было еще ни сатирической издевки, ни какой-либо идеологической нагрузки: медведи лишь экзотический атрибут страны загадочных москвитов.

В XVIII веке мощь России нарастет, составляя конкуренцию планам английской гегемонии. С 1730-х годов в Лондоне появляются первые гравированные листы с медвежьими метафорами России. «Крещеными медведями» назвал в это время русских Г. Лейбниц [5, с. 36]. Честь пребывать в виде коронованных медведиц поначалу выпала русским императрицам. В последующие два века число карикатур, представляющих Россию то свирепым и злобным, то дружественным и управляемым Медведем, возросло в геометрической прогрессии, с учетом передовых в этой сфере технологий с их возможностями своеобразного *карикатур-нета*. Свободы печати и внедрение дешевой техники офорта привело к тому, что рынок оказался перенасыщен сатирическими листами с оперативными, остроумными, а порой грубыми и даже непристойными откликами на все текущие события, включая внешнеполитическую сцену. Так вслед за русскими императрицами XVIII столетия в медведей были превращены и все последующие русские императоры —

от Павла I до Николая II. Советские генсеки и постсоветские президенты не избежали участи российских самодержцев.

«Русский медведь» изображается в двух различных ипостасях; «государственной» и «народной», либо служа аллегорией России как государства, либо символизируя народ, противопоставленный правителям. В первой своей ипостаси в английской сатирической карикатуре он один из обитателей европейского бестиария как такового, в пронумерованных клетках которого сидят: 1. Австрийский Леопард. 2. Прусский Орел. 3. Галльский Петух. 4. Русский Медведь в короне, с характеристикой *a very prudent animal* (очень расчетливый зверь). 5. Сардинский Еж. 6 и 7. Мыши — Конде и Брауншвейг. 8. Неаполитанская Летучая Мышь. 9. Голландская Жаба. 10. Шведская Свинья [9].

На другой карикатуре английский премьер Уильям Питт, как святой Георгий, поражает копьём Дракона, сидя верхом на Английском Быке (Джоне Булле). Древяно копьё имеет надпись *United strength of the people* (Объединенные силы народа). Бык растоптал копытами пятерых Французских Петухов — членов Директории. Так представлены успехи кабинета Уильяма Питта на внешней и внутренней политической арене (голова дракона — символы парламентской оппозиции). В августе адмирал Нельсон уничтожил французскую эскадру у берегов Египта, а Россия помогла закрепить этот временный успех: в октябре адмирал Ушаков изгнал французов с Ионических островов. Четыре союзника по Второй антифранцузской коалиции — Англия, Турция, Австрия и Россия-медведь расправляются с французской армией в Сирии и обезьяной-Наполеоном лично.

Вторая антифранцузская коалиция, ознаменованная походом Суворова в Италию и Швейцарию: Медведь помогает австрийскому императору стаскивать *сапог-Италию* с ноги республиканского генерала Наполеона. Из сапога сыпятся монеты (на карте-сапоге обозначены Рим, Неаполь, Флоренция). Наполеон с окровавленными кинжалами в руках балансирует на голландском сыре, тогда как английский моряк (Джон Буль) сзади схватил Наполеона за руки.

У самих подключившихся через несколько десятилетий к образу французов с началом русско-французского сближения образ

медведя становится двойственным — не только демоническим, но и романтическим, а также гиперсексуальным. Если в британских шаржах это его качество сигнализирует «жителям» европейского леса об угрозе стать жертвой медвежьего флирта, то во французской сатирической графике медведь представлялся подходящим партнером для Марианны, верным и надежным ее защитником от хищного германского орла. Вот скорее дружеский шарж в связи с началом Антанты: Марианна (из одежды на ней только фригийский колпак) в постели обнимает белого пушистого медведя. Перины напоминают снежные сугробы, балдахин с ликторским пучком и двуглавым орлом — кочевую кибитку. В преддверии холодов темноволосая француженка (есть мнение, что Марианна на этом рисунке похожа на журналистку Жюльет Адан, активно пропагандировавшую союз с Россией) спрашивает русского медведя: «Скажи-ка, дорогуша: я отдам тебе сердце, но получу ли я твою шубку зимой?» [15, с. 120].

Многозначна карикатура «Революция в России» в испанской газете «Хедеон»: белый медведь в клетке оседлал укротителя-царя, а на подставке с надписью «Порт-Артур» сидит японская обезьяна и смеется над ними. Подпись гласит: «Медведь в ярости. Так как у него не получайся справиться с обезьяной, он пытали навредить дрессировщику» [2, с. 144].

Новый медвежий визуальный взрыв произошел по разные линии фронтов в годы I мировой войны. В любом случае, и в более позитивном, и в однозначно негативном смысле медведь обозначает символическую границу, разделяющую Запад и Восток, эссенциализируя культурные и цивилизационные различия.

Советский период истории был ознаменован попыткой воспитания не только нового человека, но и нового медведя. Первое появление медведя-оборотня на российском киноэкране произошло в 1925 году в фильме «Медвежья свадьба» Константина Эггерта и Владимира Гардина по одноименной пьесе Анатолия Луначарского, созданной, в свою очередь, по мотивам новеллы П. Мериме «Локис» и нарративной схемы сюжета «Красавица и чудовище» в целом. Имея большой успех, фильм сформировал традицию, которая развилась в экранизациях пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное

чудо»: герой из страха превратиться в зверя бежит от любви. В экранизации М. Захарова (1978) медвежья ипостась с человеческим лицом не оценивается как однозначно жуткая и безнравственная, привнося тему свободы и природной чистоты, присущая не только медведю, но и другим животным, а также детям.

Наиболее же известным «ответом Чемберлену» стал талисман Олимпийского Мишки В. Чижикова для московской Олимпиады 1980 года. Этот сильный, но миролюбивый, милый и застенчивый Мишка символизировал не только Олимпиаду, но и идеальный образ страны. В постсоветском кинематографическом пространстве образ медведя лишился обязательной ценностной нагруженности, став символом, маркирующим ситуацию перехода, выбора или двоимирия, — новым «пограничником». Он появляется как индикатор разделенности мира, но своим существованием уже никак не оценивает эту онтологическую раздвоенность. В фильмах Т. Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005) по прозе С. Лукьяненко медведь уже не маркирует собой границу между человеческим как цивилизованным и нечеловеческим как дико-природным, но и не нагружается всей полнотой противопоставления морального и неморального выбора. Скорее он служит здесь как легко опознаваемый зрителем маркер переходности между миром привычным и запредельным. Можно сказать, что образ медведя в кинематографии Бекмамбетова кодифицировался, превратился в клише, привычное для хорошо погруженного в российскую кинокультуру зрителя, и поэтому его семиотическая нагрузка ослабла (Медведь — единственный Иной, который не превращается в животное на экране). Для маркировки границ между человеческой культурой и трансцендентным ей миром природы, а также между «Я» и «Другим» теперь требуются уже некие иные символы [6, с. 115].

Территориальные границы — кожа Левиафана — в современном мире не в силах сдержать информационные потоки, но символические пограничники обладают полномочиями их перенаправления. Левиафан, что зримо проиллюстрировано в одноименном фильме А. Звягинцева, вывернут наизнанку — его внутренности и ткани обнажены воздействию внешнего мира. Так и географические границы держатся остаточным общим законом. И если уже

не только граница составляет государство, то национальное государство начинает сопротивляться новой силе, закрывая заслонки, манипулируя роутерами, возводя брандмауэры, пытаясь противопоставить внешним (или даже внутренним) информационным потокам порождаемый самим Левиафаном контент, как если бы можно было одолеть наводнение, подливая воды. Однако информация, как влага, все равно находит себе щели, расширяя их [14].

В постсоветской России образ русского медведя весьма распространен; его активно эксплуатируют политтехнологи, журналисты, маркетологи. В России медведь по-прежнему больше, чем медведь — но все-таки меньше, чем устойчивый и древний национальный символ, который мог бы объединить русских/россиян и мобилизовать их на коллективные действия, с которым они смогли бы отождествить себя и свою страну. Коллективная идентичность существует как процесс конкуренции различных дискурсов, соревнующихся между собой за доминирование [10, с. 5]. Прежде всего — дискурсов русское/российское, хотя на поле каждого из них возникают свои поля конкуренции. На зимней Олимпиаде 2014 года белый мишка потеснился, предоставив равноправные места на эмблематическом пьедестале леопарду и зайке. На Западе же последующие события запустили механизм символического озверения медведя. В России медвежий символ становится фактором проведения внутренних границ, выстраивания и закрепления социальных иерархий. В этих условиях неизбежно новое обострение дискурсивной борьбы вокруг медведя как символического пограничника.

\*\*\*

1. Войцеховска К. Лютый зверь и образец заботливости: образ медведя в Библии и апокрифах // «Русский медведь»: История, семиотика, политика / под ред. О.В. Рябова и А. де Лазари. М. : Новое литературное обозрение, 2012.

2. Гарсия Сала И. Отголоски медвежьего рычания: Российская империя как белый медведь в испанской прессе // «Русский медведь»: История, семиотика, политика / под ред. О.В. Рябова и А. де Лазари. — М. : Новое литературное обозрение, 2012.

3. Гоббс Т. Сочинения : в 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 2.

4. Журавлев И.В., Тхостов А.Ш. Субъективность как граница: топологические и генетические модели // Психологический журнал. 2003. Вып. 24. № 3.
5. Кантор К. Кентавр перед Сфинксом // Кентавр перед Сфинксом: (Германо-российские диалоги). М., 1995.
6. Кузнецова Л.В. Медведь-оборотень в российском кинематографе: трансформация образа // Лабиринт : журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 4.
7. Нестеров А.Ю. Онтологические границы семиозиса в процедурах коммуникации, познания и понимания: автореф. дис. ... доктора философских наук. Самара, 2010.
8. Повесть временных лет. СПб.: Наука, 1996.
9. Россомахин А., Хрусталева Д. Россия как Медведь: Истоки визуализации (XVI–XVIII в.) // Границы : альманах Центра этнических и национальных исследований ИвГУ. Вып. 2: Визуализация нации. Иваново: Ивановский государственный университет, 2008.
10. Рябов О., Лазари А., де. Предисловие // «Русский медведь»: История, семиотика, политика / под ред. О.В. Рябова и А. де Лазари. М. : Новое литературное обозрение, 2012.
11. Тесля А. Абсолютизм государства. Политическая философия Томаса Гоббса. URL: [http://krotov.info/libr\\_min/19\\_t/es/lya.htm](http://krotov.info/libr_min/19_t/es/lya.htm)
12. Уортман Р. С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии : в 2 т. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II / Р. С. Уортман ; пер. с англ. И. А. Пильщикова. М. : ОГИ, 2004.
13. Флоренский П. Сочинения : в 4 т. М. : Мысль, 1996. Т. 2.
14. Харитонов В. Подъем Левиафанов. Границы в сети // Частный корреспондент. 25 января 2011. URL. [www.chaskor.ru/article/podem\\_leviafanov\\_89](http://www.chaskor.ru/article/podem_leviafanov_89)
15. Цыкалов Д. «Русский медведь» в европейской карикатуре второй половины XIX — начала XX века // «Русский медведь»: История, семиотика, политика / под ред. О. В. Рябова и А. де Лазари. М. : Новое литературное обозрение, 2012.
16. Armstrong J. Nations before Nationalism. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1982.